

*В.В.Бабашкин,
кандидат исторических наук.
Российский государственный
аграрный заочный университет*

Россия XX века: о некоторых подходах современной западной историографии

Не так давно в Ярославле состоялся международный семинар историков, посвященный новым подходам в западной историографии к изучению России. Представитель университета Восточного Лондона Д.Фильцер, специалист по хрущевской эпохе, говорил о больших проблемах западной литературы по интересующему его периоду. В 60—70-е годы, когда архивы были недоступны, круг привлекаемых источников (газеты, журналы, стенограммы речей на съездах и тексты постановлений) не позволял называть работы западных авторов собственно историческими исследова-

даваниями. Время Н.С.Хрущева освещалось "кремленологами" и политологами, с одной стороны, и историками-экономистами — с другой. При этом первых интересовало, какого рода директивы и постановления при каких обстоятельствах и кем принимались. Последние же бесстрастным языком экономической статистики показывали, как искажалась суть этих директив и программ на практике.

Доступ к новым историческим источникам, по мнению Д.Фильцера, должен вписать эпоху Н.С.Хрущева в более широкий исторический контекст, сделать ее частью общетеоретического подхода к российской истории XX в., а также дать совершенно необходимую для этого информацию "о каждодневной жизни простых людей: о том, как они работали, жили, о чем думали, как приспособивались к системе и как система включала их в свою орбиту, как компенсировали трудности жизни и даже Как выражали свой протест..."¹

В связи с определенной эйфорией по поводу доступа к закрытым прежде источникам хотелось бы обратиться к остроумному наблюдению, которое приводит П.Кенез в рецензии на книгу Р.Пайпса "Россия при большевистском режиме" (Нью-Йорк, 1993). Автор рецензии, известный специалист по истории советской пропагандистской машины, пишет, что фраза о возможности узнать наконец *подлинную* советскую историю лишь тогда, когда будут открыты советские архивы, превратилась на Западе в избитый штамп. Но теперь, когда архивы доступны, он не знает случая, чтобы кто-то из коллег заявил, что в свете вновь открывшихся материалов он пересматривает свою точку зрения на историю советского периода. Каждый ищет (и находит!) в этих новых материалах подтверждения своих прежних позиций².

Наверное, это справедливо³. Но тут очень многое зависит от того, насколько плодотворны и перспективны были эти прежние позиции. Скажем, книга Р.Такера "Сталин у власти. Революция сверху, 1928—1941" может служить примером морального осуждения сталинизма как особой политико-административной сис-

¹ Фильцер Д. Хрущев и история Советского Союза. Структурный подход // Новейшие подходы к изучению истории в современной зарубежной историографии. Ярославль, 1997. С. 55.

² Kener P. The Prosecution of Soviet History. Vol. 2 // The Russian Review. Vol. 54. N 2. 1995. April. P. 265.

³ Во всяком случае, книга Р.Пайпса это вполне подтверждает. Ее автор, олицетворяющий собой ненависть к большевизму в западной историографии, по-прежнему не хочет видеть многих вещей, которые становятся все более очевидными. Например, того, что самый мощный слой российского населения — крестьяне предпочли по тем или иным причинам (возможно, по принципу "из двух зол") большевиков их противникам в гражданской войне. — См.: Kener P. Op. cit. P. 265—269.

темы, и в ней содержится огромное число фактов, позволяющих автору квалифицировать многие деяния И.В.Сталина как преступления. Название главы, посвященной центральному событию российской истории текущего столетия — колхозизации крестьянской деревни, — говорит само за себя: "Ужас и бедствие: сталинский Октябрь". В ней, в частности, приводится ряд свидетельств в пользу того, что голод 1933 г. был "рукотворным", организованным политической верхушкой с целью устрашения основной массы населения и подавления сопротивления крестьянства антинародному политическому курсу¹. Это известная позиция западной историографии, всегда существовавшая как противовес советской "фигуре умолчания" и может быть в наибольшей степени позволявшая ставить вопрос об осуждении сталинского режима и его политики.

Новейшее и очень скрупулезное исследование столь известных западных специалистов по истории России в 20—30-е годы, как Р.Дэвис и С.Уиткрофт, показало, что нельзя сводить причину аграрного кризиса начала 30-х годов и последовавшего голода только к действию субъективно-политического фактора. Они привлекли внимание коллег к естественно-климатической составляющей данного вопроса и к тому его аспекту, который они обозначили как агротехнический. На заседании теоретического семинара "Современные концепции аграрного развития", специально посвященном обсуждению этой работы Р.Дэвиса и С.Уиткрофта, было высказано много острых суждений по поводу того, какие факторы следует принимать во внимание при рассмотрении положения в деревне и в сельском хозяйстве в 30-е годы². На фоне этой дискуссии оценка голода 1933 г. как "рукотворного", широко принятая не только на Западе, но и в отечественной постперестроечной публицистике, выглядит явным упрощением, а основанный на ней общий взгляд на характер режима можно считать примером идеологизации истории³.

Надо отметить, что в последнее время западная историография обнаруживает явное стремление уйти от политизированности в

¹ *Tucker R. Stalin in Power. Revolution from Above, 1929—1941. N.Y.; L., 1990. P 189—195.*

² См.: Отечественная история. 1998. № 6. С. 94—132.

³ На этот счет примечательное суждение высказал японский историк Ю.Танючи при обсуждении исследования Р.Дэвиса и С.Уиткрофта: "Основной критерий политизированной истории — "превозносим или клеймим". Представление о многопричинности событий и установление иерархии причин несовместимо с такой историей, потому что при этом тот, кого следует заклеить, уходит от ответственности, а тот, кого требуется превозносить, оказывается не так уж и велик. Важная заслуга авторов обсуждаемой работы — представление о многопричинности аграрного кризиса и голода в СССР в начале 1930-х гг." — см.: Отечественная история. 1998. № 6. С. 120.

рассмотрении российских сюжетов, отойти от некоторых устоявшихся оценок и трактовок, перераспределив внимание в пользу фактов, которых появляется в поле зрения историков все больше и больше. Начинает обрисовываться подход, который условно можно назвать объективистским. Возьмем для примера учебник по истории России, выпущенный Оксфордским университетом в 1997 г. под общей редакцией Г.Фриза¹. Это прекрасно изданный внушительных размеров том, на суперобложке которого заявлено, что коллективу видных историков удалось отбросить пропагандистские мифы и предубеждения прошлого и впервые дать истинную историю этой замечательной страны.

Что же говорит эта истинная история о причинах аграрного кризиса и голода в СССР в начале 30-х годов? Там об этом один абзац, содержание которого сводится к тому, что до недавнего времени и западные, и российские историки считали этот голод намеренно организованным с целью устрашения крестьян и геноцида, однако последние исследования показывают, что фактический урожай зерновых был в 1932 г. не 69,9 млн т, как считалось прежде, а менее 50 млн т. Такова была причина голода, который в связи с обязательными поставками переместился из города в деревню². Парадокс в том, что под последними исследованиями в данном случае наверняка подразумеваются работы Р.Дэвиса и С.Уиткрофта, но в результате весьма вольного с ними обращения вместо углубления представлений о многопричинности одного из ключевых событий российской истории текущего столетия мы имеем явную вульгаризацию причин. Такая погоня за объективностью, являясь бегством от трактовок политизированной истории, не менее опасна, чем политизация, так как в ней исчезает спор. Стремление опубликовать новейшие данные и факты даже не в противовес прежним трактовкам, а вместо них только на том основании, что это последнее (а потому как бы бесспорные) исследования, угрожает истории как системе знания.

Значительно интереснее, когда новыми архивными данными оперируют ученые, уход которых из идеологии состоялся достаточно давно и не по причине изменений политической конъюнктуры, а в поисках своего систематизированного и внутренне логичного взгляда на историю нашей страны в XX в. В этом случае новые документы могут подтверждать одни существенные аспекты этого взгляда, корректируя и расширяя другие. Такое явление в западной историографии может быть рассмотрено на примере научного творчества МЛевина. Уже в первой своей монографии "Российские крестьяне и Со-

¹ Russia. A History / Ed. Gregory L. Freeze. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 1997.

² Ibid. P. 303.

ветская власть"¹ он отказался от такого стереотипа, как преувеличенное внимание только к политическим или только к экономическим факторам событий, характерных для 20-х годов, подчеркивая, что само российское крестьянство (громадное большинство населения) составляло важнейший фактор развития событий, без анализа которого невозможно адекватное представление об их сути и внутренней логике. В последующих его работах, составивших потом книгу под названием "Так создавалась советская система"², достаточно ясно были обрисованы основные положения особого взгляда на характер развития российского общества в первые десятилетия XX в.

Прежде всего, это уход от рассмотрения октябрьских событий 1917 г. как переломного момента, водораздела двух различных эпох в истории страны, что всегда было обусловлено гипертрофией политической составляющей исторических событий, характерной как для коммунистической, так и для противоположной традиций. Изменение угла зрения, при котором определяющим становится социальный состав и социальная организация общества, позволяет обнаружить не столько разрыв времен, сколько преемственность их в новейшей истории России. Основа преемственности — крестьянская социальная база страны как относительно неизменная общая характеристика всех этапов ее развития в эпоху модернизации, начиная от С.Ю.Витте и П.А.Столыпина и кончая И.В.Сталиным. Неизменность эта была относительная в том смысле, что многомиллионная деревенская Россия, конечно, переживала большие перемены под воздействием событий внешнего для крестьянства мира — мира политиков, в котором господствовала идея принудительно-бюрократической модернизации страны. Однако эти перемены все время оказывались не теми, что ожидали реформаторы и творцы большой политики, и они, в свою очередь, оказывали определяющее воздействие на характер и общее направление развития общества в целом.

С начала века и до 1914 г. все сферы жизни того "аграрного комплекса", каким, по терминологии М.Левина, продолжала оставаться Россия Николая II, быстро пронизывали ростки капитализма, чему всячески способствовала политика правящей элиты. Но эти ростки быстро пожухли в тех условиях, в которых страна оказалась, втянувшись в 1914 г. в войну. Российский капитализм не был в состоянии окончательно трансформировать "аграрный комплекс". Напротив, последний в той особой исторической ситуации отреагировал на все эти трансформационные потуги столь своеобраз-

¹ *Lewin M. Russian Peasants and the Soviet Power. L., 1975.* Впервые опубликовано на фр. яз. Париж, 1966. См. также: Отечественная история. 1994. № 4—5. С. 46—78.

² *Lewin M. The Making of the Soviet System. N.Y., 1985*

разным и глобальным историческим явлением, как "архаизация" деревни в 1917—1920 гг. — срыв громадного большинства российского населения в общинное средневековье. А это, в свою очередь, обусловило новое издание "аграрного комплекса" в 20-е годы. Базовая тенденция к скорейшей модернизации страны сохранялась и находила свое воплощение в бурной энергии политического руководства, но, как подчеркивает М.Левин, "когда новый режим, наконец, получил возможность повести страну к провозглашенным целям, отправной пункт характеризовался большей отсталостью, чем в 1917 г., не говоря уже о 1914 г."¹

По убеждению автора, от Петра к Сталину тянется традиция осуществления стратегии индустриализации на одной и той же основе: избыток неквалифицированной рабочей силы плюс в огромном количестве передовые машины и технологии — комбинация, достаточная для получения быстрого успеха в определенных секторах на какое-то время, однако создающая колоссальные трудности для перехода к экономике, ориентированной на качество и эффективность. Реализация такой стратегии в 20-е годы требовала возрождения в полной мере (а с поправкой на "архаизацию" деревни даже и в усиленном варианте) административно-бюрократической машины государства. Для обозначения соответствующей политической системы М.Левин даже вводит особый термин — "аграрный деспотизм"². Как нам представляется, термин удачен не только тем, что хорошо отражает это понятие. В нем как бы присутствует тот более широкий смысл, что аграрно-крестьянский характер российского общества с деспотической неумолимостью всегда вносил большие коррективы в самые благие намерения реформаторов. Эта логика сохранилась и в XX в. — свидетельство преемственности времен в российской истории.

Нэп обнаруживает определенную гибкость идеологии и политики ленинизма. В эти годы установилась довольно парадоксальная общественная система, основанная на смешанной планово-рыночной экономике, некий "плюралистический авторитаризм". Однако архаически-деревенская социальная база общества стимулирует развитие партии как особой политико-административной структуры по пути, противоположному развитию нэповской экономики. Огромная потребность в руководящих кадрах покрывается за счет огромных масштабов выдвижения их из низших плохо образованных слоев общества, обучаемых и распределяемых через партийно-аппаратные структуры Приток миллионов вчерашних сельчан в вузы, на новые, в том числе и административные, должности создает крепкие опоры для

¹ *Lewin M. Russia/USSR/Russia/ The Drive and Drift of a Superstate. N.Y., 1995. P. 67.*

² *Ibid P. 257—261.*

постнэповского режима¹. То, что советская идейно-пропагандистская машина именовала культурной революцией, М.Левин обозначает как "культурную контрреволюцию": снижение общей культуры в городах, культуры промышленного производства, неадекватная профессиональная подготовка практически во всех отраслях и сферах, включая политическую. Противоречие между выполняемой работой и квалификацией работников проникало в самую суть нарождающейся общественной системы; новые профессионалы и администраторы, не успев составить устойчивых социальных структур и плохо соответствуя своим должностям, были незащищены социально и питали огромную благодарность системе.

"Мне сталинизм видится, — пишет исследователь в одной из последних своих книг, — как еще одна — последняя — версия ярко выраженной аграрной сущности, когда политическая система сталкивается с сельским станovým хребтом страны. В результате революционного перехода система вновь воплотилась в "аграрный деспотизм", в котором "наверху" мифологизированный лидер и внизу более или менее зарегламентированное крестьянство — бесправная масса граждан, к которой примыкает сектор настоящего рабского труда. Картину завершает культурная контрреволюция и возвращение к примитивным идеологиям прошлого... Ключевой характеристикой правителя является произвол. Самовластными правителями были и фараоны, и русские цари, и султаны, и средневековые князья, и шейхи в пустыне; однако Сталин привнес дополнительное и усугубляющее измерение этого явления: в распоряжении Сталина были технические средства, которых не имел ни один фараон или султан"².

В настоящее время М.Левин занят исследованием советской бюрократии как наименее разработанного узла приведенного концептуального подхода к истории России в XX в. С одной стороны, в ее складывании и развитии в 20—30-е годы воплотилась историческая преемственность политического устройства страны. С другой стороны, развиваясь по внутренне присущим ей законам, она

¹ В последних работах ученый уделяет большое внимание механизму наследования сталинской системой основных параметров прежней административно-бюрократической машины. В общем он ставит эту проблему так: «В аппарат приходят многие "плебеи". Пользуюсь этим термином преднамеренно, поскольку это люди из более или менее малообразованных классов, и в этом — сила режима и одновременно его слабость. Это кадры преданные, но не опытные, не профессиональные. Государственную машину на первый взгляд строили эти "плебеи" под руководством революционеров, а фактически — специалисты с дореволюционным опытом. Другого опыта не было никакого, поэтому практика, методы старых, авторитарных структур, бюрократическая традиция свободно переходят через революционный перевал». — *Левин М.* Режимы и исторические процессы в России XX в. // Куда идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского пространства. М., 1996. С. 6.

² *Lewin M.* Russia/USSR/Russia. The Drive and Drift of a Superstate. P. 316.

сумела унаследовать общество от сталинизма в 50—60-е годы, минимально изменяя и модернизируя механизмы "аграрного деспотизма" под напором урбанизации, а следовательно, базовых изменений в социальной структуре общества. Надо полагать, это стало возможно во многом благодаря тому, что аграрная составляющая продолжала оставаться не просто социальной характеристикой половины населения страны, но основной социально-психологической характеристикой огромного его большинства.

Вот с какой точки зрения очень важно сейчас внимательно рассмотреть то, как люди работали, жили, о чем думали, как приспосабливались к системе. Надо отметить, что новые документальные материалы действительно дают для этого уникальную возможность, которой спешат воспользоваться как отечественные, так и западные историки. Остается пожелать, чтобы увлечение социальной историей не превратилось в самоцель, оправданную вполне понятным стремлением уйти от исчерпавших себя идейно-теоретических схем. Уход от концептуальной схемы, от общего взгляда на ту или иную проблему вообще вряд ли возможен для историка. Приведенная концепция развития России в XX в., которую разрабатывает МЛевин, хороша тем, что создает необходимость исследования социальной и политико-организационной сторон проблемы в тесной увязке. Она противостоит как прежней либеральной традиции критики сталинизма как такового, в отрыве от его социальной обусловленности, так и современной тенденции изучать социальную историю без политики.